

Н. Северин

Авантюристы

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 82-3
ББК 84

Н. Северин

Авантюристы / Н. Северин – М.: Книга по Требованию, 2011. – 176 с.

ISBN 978-5-4241-2017-6

Н. Северин — литературный псевдоним русской писательницы Надежды Ивановны Мердер, урожденной Свечиной (1839 — 1906). Она автор многих романов, повестей, рассказов, комедий.

ISBN 978-5-4241-2017-6

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Авантюристы

I

Слухи о деле офицера гвардии ее величества императрицы Елизаветы Петровны, Владимира Борисовича Углова, из кабинетов государственных деятелей, которым оно было отчасти известно, начали расползаться по городу, возбуждая самые разноречивые сплетни и толки в то время как сам виновник этой, предполагаемой уже многими авантюры ничего еще не подозревал о ней.

Как ни в чем не бывало, продолжал он наслаждаться жизнью, сложившейся для него особенно приятно, не замечая сострадания, любопытства и злорадства, возбуждаемых его появлением в том самом обществе, где не дальше, как с неделю тому назад, его встречали с распростертыми объятиями, как любезного гостя, добродушного и услужливого товарища и выгодного жениха.

Углов не замечал, что прежние друзья стали с ним сдержаннее и холоднее, что оживленные разговоры обрывались и заменялись неловким молчанием при его появлении, что завистники и враги с назойливым любопытством всматривались в его лицо и прислушивались к каждому его слову, чтобы по его взгляду, по голосу разгадать: известна ли ему интересная тайна, занимавшая весь город?

Недоброжелателей у Владимира Борисовича было много. Он был молод, красив, богат, шел хорошо по службе, нрав у него был веселый и откровенный, и если, с одной стороны, за ним утвердилась репутация простака, неспособного воспользоваться случаем, чтобы сделать блестящую карьеру, то, с другой стороны, не нашлось бы ни одного человека, который усомнился бы в его честности, доброте и благородстве.

Родителей он лишился в раннем детстве и вырос на попечении родственников, которых у него было много, всякого звания и состояния — и видных, и темных, и богатых, и бедных. Ко всем относился он с уважением и любовью, никого не забывал поздравлять с ангелом и с праздником, с одинаковым аппетитом уплетая пироги с кашей в домике тетенки Аграфены Карповны, вдовы мелкопоместного помещика, и лакомясь затейливыми фрикассе на банкетах дяденьки Ивана Васильевича Таратина, у которого он имел счастье встречать важнейших сановников государства.

Одним словом, до той весны, с которой начинается этот рассказ, жизнь корнета Углова текла, как по маслу. Женщины в него влюблялись, начальство к нему благоволило, родственники его ласкали, деньги ему присылались без задержки и в достаточном количестве из Угловки, родового имения, до которого, по выражению Лешки, камердинера Владимира Борисовича, было так далеко, что в три года до него не дойдешь и не доскачешь. Но это было, как почти все, что думал и говорил Лешка, бессовестное преувеличение и вранье, тем более наглое, что сам он знал, как нельзя лучше, что обоз с живностью и разными деревенскими продуктами, являвшийся к ним на двор каждый год перел Рождеством, выезжал из Угловки не ранее конца октября.

Впрочем Углову до сих пор не было случая раздумывать над расстоянием между столицей и родовым гнездом: поселиться в деревне ему и в голову не приходило. К такой печальной необходимости могла принудить его только старость (до которой, слава Богу, было далеко: ему недавно минуло двадцать два года) или, чего Боже упаси, опала.

Последнее предположение вызывало улыбку на устах Владимира Борисовича. Ничего подобного не могло с ним случиться: кроме любовных грешков, за ним никакой вины не числилось. Вообще жизнь он вел самую аккуратную, какую молодой офицер с его состоянием мог вести, с буянами и честолюбцами не сблизился, политикой не интересовался, а к безбожникам и вольнодумцам, дерзавшим судить и рядить о вещах; до них не касавшихся, питал такое же врожденное отвращение, как к вину и картам. Доходами своими он пользовался с похвальным благоразумием, и хотя навертел-таки себе на шею долг в несколько тысяч рублей, благодаря знакомству с проходимкой иностранного происхождения, по имени Виржини Дюляк, но этой беде, даже по мнению его покровителя и бывшего опекуна Ивана Васильевича Таратина, с которым Углов продолжал и после совершеннолетия советоваться в затруднительных случаях, — легко было помочь: стоило только продать один из многочисленных лесных участков, которыми он владел и в саратовском воеводстве, и в казанском.

Мать его, родом Ревякина, принесла в приданое мужу крупное состояние землями, драгоценными уборами, серебряною и золотою утварью. Вещи эти бережно хранились ее наследником. Не взирая на свой слабость к хорошеньким женщинам, на то, что с тех пор, как он себя помнил, он никогда не выходил из состояния влюбленности, он позволил себе изъять только несколько безделушек из вещей матери, чтобы подарить тем из двоюродных и троюродных сестриц, родители которых особенно ласкали его; остальное же приберегалось им для той, которую он должен был выбрать в подруги жизни.

Несмотря на некоторое легкомыслие и беспечность, Углов относился к мысли о женитбе очень серьезно и искал в будущей жене вовсе не того, что в любовниках, а потому нет ничего удивительного, что он остановил свой выбор на умной и прекрасно образованной красавице, старшей дочери сенатора Чарушина, женатого на храброй даме, известной в городе своим злым языком, строптивым характером и заботливостью о дочерях, которых у нее было целых четыре.

Старшую и самую красивую, Фаину, она решила выдать замуж как можно раньше, чтобы она не мешала пристроить сестер, и, с первого знакомства с Угловым, наметила его себе в зятя.

И это намерение уже близилось к исполнению. Если Углов еще медлил формальной декларацией, как тогда выражались, то единственно потому, что ему хотелось привести прежде в порядок свои дела, то есть расплатиться с ростовщиком, докучавшим ему большими процентами.

И вот в одно прекрасное утро, ясное, теплое и грязное, какими март месяц, как теперь, так и сто пятьдесят пять лет назад, дарил петербуржцев, он поехал к дяде Ивану Васильевичу Таратину, чтобы посоветоваться с ним насчет продажи лесной пустоши и одновременно просить его к себе в сваты.

Его тотчас же провели в дальний кабинет хозяина. Последний встретил его заявлением, что посещение его весьма кстати.

— Только что хотел за тобой послать. Но ты мне прежде скажи, по какому делу ты ко мне пожаловал? — сказал он ему, когда они остались наедине.

Владимир Борисович совершенно спокойно и нимало не предвидя того, что его ждет, объяснил цель своего посещения; но лицо его слушателя так омрачилось по мере того, как он говорил, что это смутило его.

— Вы, может быть, думаете, что за меня не отдадут Фаины Алексеевны? —

спросил он. — Но мне кажется, что отказа опасаться нечего. Меня принимают в этой почтенной семье с таким отменным вниманием, что и к декларации моей отнесутся вполне благосклонно...

Ему не дали договорить.

— Когда ты у них был в последний раз? — спросил Таратин, не раздвигая озабоченно сдвинутых бровей.

— На прошлой неделе. У них больные...

— Откуда у тебя эти вести?

— Я послал в прошлое воскресенье Анне Ивановне сушеных фруктов из Угловки, и она сама вышла к моему посланному, чтобы приказать меня благодарить и сказать, что к сожалению не может пригласить меня кушать по той причине, что у меньших барышень оспа...

— Странное дело! Я не дальше как вчера видел Чарушина в сенате, и он мне ни слова про это не сказал!

— Да вы, может быть, не осведомлялись про его семью?

— Осведомлялся. Но что же дальше?

— Дальше то, что я прошу вас, дяденька, быть моим сватом. Фаина Алексеевна, старшая девица Чарушина, мне изрядно нравится, и я решил, что лучшей жены мне не нужно. Я приехал к вашей милости, как к родному отцу, кабы он был жив. Алексей Андреевич вас так уважает. — Владимир Борисович смолк в ожидании ответа, но дядя молчал; тогда он спросил дрогнувшим от волнения голосом: — Вы, кажется, раньше ничего не имели против этого альянса¹, дяденька?

— Да я и теперь ничего против него не имею, нахожу только, что ты некстати затеял сватовство. Брось на время эти прожекты и сбирайся-ка в дальний путь. Тебя назначили сопровождать курьера иностранной Коллегии в чужие края...

— В чужие края? — спросил вне себя от изумления Углов.

— Да, в чужие края. Куда именно, не могу тебе сказать — командировка секретная, и вы узнаете, куда и зачем вам ехать, только переехавши границу.

— Но кто же? Кому я обязан этим назначением?

— Уж этого я, братец, не знаю, а только должен тебе сказать, что командировка эта явилась для тебя весьма кстати. Столичный воздух тебе стал вреден, — прибавил старик.

— Я не понимаю, что вы хотите сказать...

— И нечего тебе понимать. Поезжай себе с Богом, а тем временем! Бог даст, гроза рассеется...

— Какая гроза?

— Вернувшись все узнаешь. Узнаешь, почему прежние друзья, с которыми ты покучивал и у которых отбивал любовниц, стали теперь от тебя отстраняться... Что? Или ты этого не замечал до сих пор? Ну и простофиля же ты, братец! Приглашал тебя намерднись на свою вечеринку Голицын? А был ты на сговоре товарища своего Томила? Да вспомнили про тебя у Татищевых, когда, на прошлой неделе, у них плясали до утра и весь двор у них был? И неужели тебя не удивило, что в прошлое воскресенье тебя не приняли у Засекиных, когда три кареты у них стояло на дворе?

Пред духовными очами бедного Углова точно завеса поднималась все больше

и больше с каждым словом дяди. Неловкое и позорное положение, в котором он находился, сам того не подозревая, стало ему теперь ясно, как день, и он вспыхнул до ушей от негодования и стыда.

— Но за что же на меня такая напасть? За что? — воскликнул ой с отчаянием.

— Все узнаешь со временем...

— Но я не могу ждать! Я не могу жить с мыслью, что неизвестные враги подкапываются под мое счастье, под мою честь и что я ничего не могу сделать, чтобы от них оборониться...

— На твою персональную честь никто не посягает, и если ты уж непременно хочешь знать...

— Разумеется, мне это нужно знать! Я никуда не двинусь из Петербурга, пока не узнаю, в чем дело. Я у всех буду спрашивать, подам прошение государыне... великому князю... я поеду к канцлеру... я на все пойду, чтобы узнать, кто — мои враги...

— Этого ты не узнаешь; будет с тебя и того, если я скажу тебе: что на тебя подана государыне челобитная, в которой тебя обвиняют в неправильном владении именьями твоего отца.

— Кто посмел подать такую наглую челобитную? Кто? — воскликнул Углов, срываясь с места и сжимая кулаки в беспомощном гневе.

— Тише, успокойся и выслушай меня без крика и брани, а не то я ни слова больше тебе не скажу. Мне с безумцем разговаривать не охота, — с напускною холодностью заметил Иван Васильевич. — Челобитную на тебя подал императрице в собственные руки один из иностранных преслов, — продолжал он, когда его собеседник, сдерживая волнение, уселся на прежнее место.

— Императрице... в собственные руки... иностранный посол? — машинально повторил Углов с целью уяснить себе смысл этих слов.

Но стоило только взглянуть на его лицо, чтобы убедиться в тщетности его усилий.

— И ничего тут особенного нет, — продолжал Таратин, стараясь говорить как можно беззаботнее, чтобы доказать своему слушателю, что его положение далеко не так ужасно, как ему кажется. — Нам каждый день приходится разбирать доносы, ябеды и челобитные, и не на таких мальчишек, как ты, а на людей почтенных и с знатым прошлым...

— Которым вы однако вряд ли советуете спастись бегством за границу от клеветы, — с горечью заметил молодой человек.

— Да ты никак совсем рехнулся? Тебя посылают с царским курьером, тебе оказывают честь и доверие, и чем бы радоваться такому счастливому случаю, ты ропщешь? Стыдись, братец!

Лицо юноши мучительно исказилось.

— Я должен знать имя моего злодея, — глухо произнес он.

— Фу, ты, пропасть, как надоел! Сколько раз тебе повторять, что челобитная подана от имени личности, которой, кроме императрицы, никто не знает! Нам приказано рассмотреть претензию, — вот и все.

— У меня оспаривают право на наследство после батюшки? И только? — упорно проговорил Углов, устремляя на старика пристальный и пытливый взгляд.

— А тебе этого мало? — запальчиво воскликнул этот последний, в свою очередь поднимаясь с кресла и принимаясь в волнении прохаживаться большими

шагами по комнате. — Чего ж тебе еще надо, скажи на милость? Наследство после отца! Угловскую волость! Богатейшую в воеводстве! Да тебе, мозгляк, вся цена будет ломаный грош, если твоим врагам эта штука удастся, — продолжал он, все больше и больше одушевляясь и возвышая голос до крика. — Ведь за тебя тогда не то что Чарушину, а даже и дочь последнего сенатского писаря не отдадут! На что ты тогда в гвардии будешь служить, экипажи держать, франтом одеваться? Подавай в отставку, поезжай в Ревякино свиней пасти, вот что тебя ждет! Да что это я, Господи Боже мой! — спохватился старик, испугавшись своих собственных слов. — Никогда этому не бывать! Никогда! Мы тоже не без связей... тоже верой и правдой царям служили... кровь свою за них проливали... наш род не из последних... за тебя есть кому постоять...

В своем волнении он шагал взад и вперед по кабинету, не замечая, что племянник уже давно не слушает его. В голове юноши кружилось такое множество разнообразных мыслей, что ни на одной из них он не мог остановиться, а сердце тоскливо ныло от странных, никогда еще доселе не испытанных, предчувствий. С ужасом отбрасывал он от себя мысль, что любимая девушка отвернется от него в такую тяжелую для него минуту, а между тем эта мысль все назойливее и назойливее залезала ему в душу.

— Сенатор Чарушин про мое дело знает? — спросил он наконец.

— А ты еще в этом сомневаешься? С чего же оспа-то так кстати с его дочками приключилась? — прибавил Таратин с злобной усмешкой.

Ему было очень жаль племянника, но он был из тех людей, которые чувства свои за стыд считают выказывать, и придерживался такого мнения, что нежностью боли сердца не исцелишь, а скорее растрaviшь.

— Откуда он это узнал, этого я не знаю, — может быть, от канцлера, а может быть — от той старой девки, сестры его жены, которая при ее величестве состоит. Но так или иначе, а ты не вздумай с ним про это заговорить! Сам должен понять, что дело это составляет тайну, которую я нарушил лишь для того, чтобы тебя просветить, в полной уверенности, что ты этим не злоупотребишь. Решение государыни еще неизвестно, может быть, она прикажет оставить эту каверзу без внимания или повелит произвести секретное расследование, или просто пожелает дать делу законный ход, все в ее воле, — прибавил он, покорным жестом наклоня голову и разводя руками.

— Понимаю теперь, произнес вполголоса Углов, отвечая на вопрос, не перестававший щемить ему сердце.

«Ничего ты не понимаешь, и слава Богу!» — подумал старик, но вслух прибавил:

— Ну, и хорошо! Надо быть мужчиной, Владимир. Отвернись от прошлого и смотри прямо в глаза будущему! Вот тебе мой совет. Поезжай себе с Богом. Если что нужно — пиши, ответом не замедлю... И советую тебе, до твоего возвращения, в публику не показываться. Не для чего тебе и к Чарушину ехать. Пока дело твое не распутается о сватовстве тебе думать нечего.

Таратин крепко обнял племянника. На глазах его были слезы, но это не помешало ему закричать вслед, когда он вышел в зал: — Помни, что до тех пор со всеми невестами, которые тебе приглянутся, оспа приключится!

Понял ли Владимир Борисович злую насмешку, или нет, но поступил так, как будто ее не слышал, и, садясь в карету, приказал себя везти на Гороховую, к се-

натору Чарушину.

Ехать надо было долго — дорога была убийственная, и приходилось двигаться шагом, а от дома Таратина, близ Таврического дворца, по Гороховой было далеко. Владимир Борисович был очень рад этому. Он надеялся до приезда привести в порядок мысли и чувства, но свежий воздух и уличное движение не развлекали его, и, как ни старался он следовать совету дяди и думать исключительно только об предстоящей поездке в чужие края, ему это не удавалось. Проклятое дело, поднятое против него таинственными злодеями, таким огромным, черным пятном застилало все прочие мысли в его уме, что он на нем только и мог остановиться, на нем и на Фаине.

Не думал он до сих пор, что эта девушка так глубоко засела ему в сердце. Не дальше как сегодня утром, отправляясь к дяде просить его быть сватом, Владимир Борисович был убежден, что любит ее самой умеренной, самой благоразумной любовью и что он именно потому медлит декларацией, что не вполне уверен в том, что она нравится ему больше других девушек. А теперь, когда дядя дал ему понять, что нельзя рассчитывать на то, что ему отдадут Фаину, ему казалось, что он никогда не утешится, что на всем земном шаре одна только и существует девушка, которая может составить его счастье, и что девушка эта — Фаина. Мысль уехать в чужие края, не зная, что ждет его по возвращении и останется ли ему верна любимая девушка, повергала его в отчаяние.

На повороте с Невского проспекта в один из бесчисленных переулков, между огородами, окруженными изгородями, он услышал, что его окликают по имени: — Господин Углов!

Углов высунулся из окна и увидел молодого франта, князя Барского, одного из любимцев цесаревича и завсегдагая Малого двора.

— О чем это вы так задумались, господин Углов? Не беспокойтесь останавливать лошадей; то, что я имею вам сообщить, не потребует больше одной минуты, а вы верно имеете важные причины торопиться туда, где, без сомнения, вас ждут, — прибавил он с лукавой усмешкой. — Поезжайте же туда, куда вас влечет сердце, но прежде скажите мне: известно ли вам, по чьему желанию вы назначены сопровождать курьера, который едет с депешами государыни за границу?

— Я только сию минуту узнал про эту командировку от моего дяди Таратина и ничего больше не знаю, — ответил Углов.

— Я так и думал и потому свернул с пути, как только завидел издали ваш экипаж, чтобы вам сказать, что вы отправляетесь по желанию великой княгини-цесаревны... До свидания, господин Углов, желаю вам удачи!

С этими словами он скрылся в калитке.

Углов, как всегда после встречи с Барским, подумал про себя: «Какой чудак этот князь!» — и, возвращаясь к прерванным мыслям, сказал себе: — «Вот кому все должно быть известно!» — и пожалел, что не выскочил из экипажа, чтобы обстоятельнее поговорить с князем.

Про Барского ходило по городу множество интересных и таинственных рассказов: говорили, что он ближе к императрице, чем наследник престола и что он мог бы пойти далеко, но что заграничное воспитание и полная самых двусмысленных приключений жизнь в сомнительном обществе извратили его ум, вкусы и характер до такой степени, что он ни с кем не может ужиться. И действительно

из человека, слепо преданного императрице, князь внезапно превратился в интимного друга наследника ², а в последнее время стали ходить темные слухи про его будто бы сближение с великой княгиней ³.

Углов имел случай убедиться, что князь Барский сделался завсегда тем же кружка гвардейцев, которые группировались вокруг Орловых, Пассека и других, враждебно относившихся к цесаревичу и распространявших слухи про дурное обращение последнего с супругой, пристрастие к немцам, неуважительные отзывы о государыне и тому подобный опасный вздор.

Одного этого было бы достаточно для такого человека, каким был тогда Углов, чтобы возбудить в нем недоверие к Барскому, но у него кроме того были другие причины относиться к князю, если не враждебно, то по меньшей мере подозрительно: прошлой зимой Барский увивался за Фаиной которую встречал у ее тетки, камер-фрейлины императрицы. Сама Фаина создалась Владимиру Борисовичу в этом. Правда, что это было до знакомства Углова с семейством сенатора Чарушина и, по словам Фаины, продолжалось недолго, тем не менее Владимиру Борисовичу казалось странным, что князь теперь так внимателен к нему.

— Он верно вас желает в свою партию привлечь, — ответила Фаина, когда однажды Углов спросил у нее, с какою целью князь Барский так лебезит с ним?

В этом ответе не было ничего удивительного. Такое было время, что во всех домах столицы только и речи было, что о партиях, переворотах и заговорах. О том, чтобы причинить какую-нибудь неприятность царствующей императрице, мало кто помышлял, а если такие: и были, то вслух мысли свои выражать не осмеливались. Императрица была слишком любима всеми; но она становилась стара, часто хворала; из достоверных источников было известно, что ее последует мысль о смерти, что у нее были видения, предвещавшие скорую кончину, что и в нраве ее произошел зловеший переворот: с каждым днем все больше и больше охладевала она к светской суете и мирским утехам, тяготилась делами, громко сетовала на невозможность совсем удалиться от света, и при этом, как прибавляли шепотом, у нее все чаще и чаще прорывались слова, доказывавшие ее разочарование в наследнике престола.

Приверженцы цесаревны, число которых возрастало с каждым днем, в особенности среди молодежи, с усердием распространяли эти слухи. Старики неодобрительно покачивали головами, уверяя, что все это — не что иное, как выдумки досужных умов. Но удержать поток сплетен и предположений никто не мог. Всеобщее ожидание перемены, искусно поддерживаемое таинственными личностями, проникало всюду. Уж да что семья Чарушиных слыла за осторожнейшую и благоразумнейшую, но и в ней в последнее время возник раскол: отец, облагодетельствованный императрицей благодаря сестре его жены, молил Бога о продлении жизни царствующей государыни и проповедовал глубокую преданность избранному ею наследнику престола; дочери же, со старшей сестрой во главе, восхищались великой княгиней. Жаркие споры, часто кончавшиеся ссорами, так надоели Углову, что он каждый раз, когда они случались, брал гитару и начинал наигрывать плясовую или затягивал залихватскую песнь своим глубоким, бархатным баритоном, или, схватив которую-нибудь из меньших сестренок Фаины за руки, с громким хохотом кружился с нею по залу до тех пор, пока старшие не бросали разговора о политике.

Владимиру Борисовичу было по себе, приятно и весело в доме Чарушиных,

где он всем приходился по душе, начиная от родителей Фаины и кончая последней босоногой девчонкой, шмыгающей без устали из барских комнат в девичью, где вышивали приданое старшей барышне. С ним советовались насчет узоров для бесчисленных кофт, капотов и юбок; он должен был решать, какими кружевами лучше украсить летнее платье, пудермантль, каким атласом покрыть салоп на дорогом меху и т. п. Он знал, что все это делается для него, чтобы ему еще больше нравилась хорошенькая Фаина...

Карета остановилась перед воротами, за которыми виднелся большой дом с мезонином, и Лешка соскочил с запяток, чтобы бежать с докладом, но барин позвал его из окна.

— Подожди меня здесь, я без доклада пройду, — сказал он, выскакивая из кареты и направляясь к дому.

Но не успел Углов подняться на крыльцо и переступить порог двери в прихожую, которую никто не потрудился перед ним растворить, как начал убеждать, что его дядя был прав.

Как всегда, при его появлении в доме поднялась суматоха, но не такая, как бывало прежде: чем бежать к нему навстречу с радостно приветливыми лицами, челядь стремительно, как стая вспугнутых журавлей, рассыпалась в разные стороны. На вопрос, предложенный мальчишке, не успевшему скрыться со всеми: «Дома ли господ?» — мальчуган растерянно ответил: «Не знаю-с», — и со всех ног пустился бежать.

Углов оглянулся в другую сторону и встретился с угрюмым взглядом той самой старой няни, которая так еще недавно осыпала его льстивыми приветствиями. Но и она скрылась, заметив, что он намеревается заговорить с нею.

Гость остался в прихожей с одним только дурачком Федосеичем, который, притулившись с чулком в руках в конце длинного конника, смотрел на него безжизненными глазами из-за сверкающих спиц.

Владимиру Борисовичу казалось, что и это Богом обиженное существо относится к нему враждебно: ему стало жутко и так обидно, что, если бы не чувство собственного достоинства и не желание во что бы то ни стало убедиться в перемене так еще недавно преданных ему людей, он поддался бы искушению бежать, чтобы никогда больше сюда не возвращаться.

Но Углов слишком хорошо сознавал свою невиновность, чтобы не понять, что бегство послужит подтверждением пущенной на его счет гнусной клеветы. В нем проснулась гордость и, сбросив с себя плащ, который никто не шел с него снимать, он, высоко подняв голову, прошел в зал.

Тут было совсем тихо и пусто. Вся жизнь сосредоточилась в задних комнатах, где при известии о том, что карета Углова заворачивает в их улицу, барин, захватив на ходу свой китайчатый халат и придерживая на лысой голове бумажный вязаный колпак, стремительно побежал совещаться со своею супругой.

— Приехал! Как тут быть? Отказать нельзя, без доклада вошел! — воскликнул он, врываясь в спальню, заставленную сундуками, с огромной кроватью в глубине и с модным туалетом между окнами, за которым жена его сидела в низком кресле, в то время как горничная-девка расчесывала ее черную, с проседью, косу.

— Мне уже доложено, — спокойно ответила Анна Ивановна.

Но ее спокойствие было напускное, в глазах ее бежали зловещие огоньки, и